

Максим Горький

Рассказ о необыкновенном



Максим Горький

Рассказ о необыкновенном

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665485

Аннотация

«В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пёстрой комнатке «мавританского» стиля, загрязнённой, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он вытянув её, на ней тяжёлый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речи своей, притопывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто...»

Содержание

Максим Горький

Рассказ о необыкновенном

В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пёстрой комнатке «мавританского» стиля, загромождённой, неудобной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он вытянув её, на ней тяжёлый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речи своей, притопывает каблучком, широким, точно лошадиное копыто.

На черепе его встрёпаны сухие волосы мочального цвета, на скулах и подбородке торчат небогатые кустики жёлтых, редких волос, под неуклюжим носом топырятся подрезанные усы, напоминая вытертую зубную щётку.

Большеротое, зубастое лицо этого человека неинтересно, такие щучьи лица, серые, угловатые, с глазами неопределённой окраски, – обычны в центральных губерниях России. Такие лица обычно освещаются небольшими глазами; глаза эти смотрят в землю, в небо и, почти всегда, мимо человека; во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми. Но нередко где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное остриё, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вы-

звал у меня Диогеново стремление, свойственное каждому литератору, – я упросил зубастого человека рассказать мне его жизнь.

И вот он говорит не торопясь, «откалывая» слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительности и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Порою его речь звучит задорно, и серые волосы усов шевелятся, обнажая насмешливо изогнутую, тёмную губу. А иногда слова угрюмы, печальны, он сурово морщит лоб, и без того обильный морщинами, белки его глаз приобретают влажный и странный оттенок жемчуга, зрачки не то испуганно, не то удивлённо расширяются.

Оставляя больную ногу неподвижной, он всё время вертится, и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Тёмные руки беспокойно шевелятся, гладят колени, передвигают на столе папку бумаг, чернильницу, пепельницу, щупают деревянную вставку для пера. Передвинув вещи с одного места на другое, он, прищурясь, оглядывает их и снова перекладывает в иной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью или ковыряет пальцем пёструю – золотую, красную, синюю – стену, изрезанную по штукатурке затейливыми арабесками.

Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он минуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплёта рамы, ищет чего-то на широкой, тёмной полосе пустынной Невы.

Расстёгивая и вновь застёгивая крючки кафтана, он как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю, накожную тяжесть.

Голос его звучит глуховато, отдалённо, глубоко из груди.

По месту жизни, по бумагам – я сибиряк, а по рождению – русский, рязанец из-под Саватьмы¹. Слово это – Саватьма – осталось у меня с детства, от родителей, они, бывало, объясняли:

– Мы из-под Саватьмы.

Лет до семнадцати я говорил не Саватьма, а Саматьма, и думал, что это – река, а вода в ней необыкновенно чёрная, однако никому об этом, – даже товарищам, ребятишкам, – не сказывал, не хвастался, а даже, пожалуй, стыдился этого: в Сибири реки светлые. Потом торговец сельскими машинами поправил ошибку мою, грубо сказал:

– Дурак, не Саматьма, а – Саватьма, и не река, а – город, уезд.

Я ему сразу поверил, приятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой – нет.

Деревню свою – не помню, деревня, наверно, обыкновенная. А помню какое-то село над рекой, на угорье, и монастырь за селом, в полукружии леса; это село я и по сей день вижу, только как будто не человеческое жильё, а игрушку;

¹ сейчас – село Саватьма Ермишского р-на Рязанской области, на реке Сурёнке – *Ред.*

есть такие игрушки: домики, церковки, скот, всё вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зелёной краской. В детстве очень манило меня это село.

Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов десять, что ли. Дорогой мать и братишка, меньше меня, вывалились из вагона, убились, отец тоже вскоре помер от случайности – объелся рыбой. Пошёл я по миру, по деревням, со старичком одним, старичок спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом, в городке каком-то, на базаре заметил меня мужик, старовер Трофим Боев, дал старичку целковый, что ли, старичок и уступил меня Боеву.

Это был человецище кряжистый, характера тяжёлого, скопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчёте у бога: сами грехом не брезгают, а людям около них дышать нечем. Я его и всех, всю семью, сразу невзлюбил за строгость ко мне, за жадность, за всё и, ещё будучи подростком, увидел бессмысленность необыкновенного труда. Шесть лошадей было у него, семнадцать коров, свой бык, овцы, птица, всего вдоволь, а работал он и людей заставлял работать – каторжно. Ели противно: уж сыты, нет охоты есть, а всё ещё едят, покраснеют, надуются, а всё чавкают, против воли. Непосильная работа да чрезмерная еда – в этом заключалась вся их жизнь. А в праздники отлично наряжаются и всем стадом – гонят в церковь, за двенадцать вёрст.

Семья большая: сам, трое сыновей от первой жены, – один

в солдатах, – две снохи, зять-вдовец, немой, откусил язык, упав с воза. От второй жены – дочь Любаша, года на два моложе меня. Жена – зверь баба, глазищи лошадиные, сила мужичья. Был ещё батрак Максим, тоже русский, этот спать любил, даже стоя спать мог. Потом ещё старухи какие-то, вроде крыс.

Когда мне минуло лет семнадцать, Максим, нечаянно, проколол мне бедро навозными вилами; с год болело бедро, гноилось; начал я прихрамывать.

Однажды, за ужином, старший сын, Сергей, говорит Боеву:

– Ходить Яшка тихо стал, надо бы полечить ему ногу-то.

А тот отвечает:

– Заживёт и без того. А охремеет – выгода, в солдаты не возьмут.

Это меня обидело; я был парень здоровый, хромать мне стыдно перед девками, они уж смеются надо мной. Тут я задумал уйти от Боева. Сказал Любаше, она тоже советует:

– Конечно – уходи, а то заморят они тебя работой. Ты видишь: они – окаянные.

Любаша была плохого здоровья, грустная девушка. Со всем бессильная, масло пахтать машиной и то не могла. Была она мне сердечной подругой, грамоте научила меня почти насильно. И одёжу починит и рубахи пошьёт. Братья, невестки не любили её, смеялись над нашей дружбой.

– Какой он тебе жених, когда хромой!

А у неё этого и в мыслях не было, просто она помогала мне жить. Была она девушка честная, к баловству брезгливая. Худенькая, глаза, как у матери, большие и свет внутри их. Смеялась – редко, а улыбнётся – сразу легче станет мне. И не плакала; побьют её, она только осунется вся, дрожит, прикрыв глаза. Самая умная в семье, а считалась недоумком и порченой. Однако – злая, мелкий скот, собак, кошек любила мучить, а особо приятно было ей цыплят давить; поймает цыплёнка, стиснет его в ладонях и задавит.

– Зачем ты это?

Не сказывала, только плечиками поведёт. Наверное, она гнев свой на людей так вымещала, что ли. Весною простился я с нею и ушёл. Боев пробовал препятствовать, пачпорта не давал мне долго. Любаша и тут помогла.

Года два жил я вполне благополучно, так, что и рассказать не о чем. Жил в Барнауле у доктора, он мне и ногу залечил, хотя хромоту оставил. Скажу так: до двадцати лет жил я как во сне, ничего необыкновенного не видя. Иной раз, в скуке, вспомню село, подумаю:

«Надо там жить».

А где это село – не знаю. И опять забуду. Любашу только не забывал. Однажды даже письмо послал ей, не ответила.

У доктора, Александра Кириллыча, было мне спокойно. Работы – мало: дров наколоть, печи истопить, кухарке помочь, сапоги, одежду почистить, потом возить его по больным. Человек я непьющий, ну, стакан, два могу допустить

выпить для здоровья; в карты играл осторожно, бабы меня даром любили. Характером я был нелюдим. Считался придурковатым. Накопил денег несколько.

И сразу, точно под гору покатился, началась необыкновенная жизнь. По соседству убили двух, мужа и жену, а я в ту ночь не дома ночевал. Заарестовали меня, и тут оказалось, что у меня пачпорт испорчен, буквы перепутаны: настоящее имя-прозвище моё Яков Зыков, а в пачпорте стоит Яков Языков. Тогда, на грех, японская война начиналась. Следователь и говорит:

– Ты сам сознался, что по чужому виду живёшь; значит – скрываешься от воинской повинности али от чего-то и ещё хуже.

Указываю: ведь в пачпорте, в приметах, объявлено – хромой, стало быть это я и есть, Зыков. В Сибири никто никому не верит.

– Может, говорит, к убийству ты и не причастен, а всё-таки надо собрать справки о тебе.

Доктора в те дни дома не было, он в Томск уехал и в Казань; заступиться за меня некому. Посадили в тюрьму, в тюрьме воры смеются надо мной:

– Вовсе ты не Зыков и не Языков, а – Язёв, потому что у тебя морда рыба.

Так и прозвали: Язёв.

Обидела меня эта необыкновенная глупость; ночей не сплю, всё думаю: как это допускается – морить человека в

тюрьме за пустяковую ошибку на бумаге? Жалуюсь богу; я в то время сильно богомолен был, хотя в тюрьме не молился: там над верой смеются. Бывало, спать ложась, только перекрещусь незаметно, а лёжа прочитаю, в мыслях, молитвы две-три, – тут и всё. А привык я молиться истово, на коленках стоя. «Верую», «Отче наш» читал по разу, «Богородицу-деву» – трижды. Акафист ей знал наизусть. Любаша многому научила меня. Писать учился шилом на бересте сначала.

Конечно, вера – глупость, но я тогда молодой был и, кроме бога, посторонних интересов не имел.

Валялось в камере, кроме меня, ещё семеро, – четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и всё спорили. Старик – высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень неприятный. Был аккуратен; утром проснётся раньше всех, вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив её водою, расчешет голову, бороду, застегнётся весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а оказалось – умный сектант!

Слесарь – чёрный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый, и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена, зубы блестят,

усики чернеют. Глаза – как у киргиза. Лощёный весь и на тюленя похож, на учёного, каких в цирке показывают. Свистеть любил.

Вот, снова, когда воры заснули, слышу я – старик ворчит:

– Простота нужна. Все люди запутались в пустяках, оттого друг друга и дают. Упрощение жизни надо сделать.

Слесарь – досадует, бормочет:

– И я про то же говорю.

– Врёшь. Ты – вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы обманщики. Ты – особенности доби- ваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут – горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, команда и насильство. Отсюда все необыкновенности в пище, одежде, все различия между людей. Это всё надо – прочь, вот как надо! Где особенное, там и власть, а где власть – там вражда, непримиримость и всякое безумство. Оттого и враждуете, безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими владеть он не должен. Вот – пришили тебя к бумаге и гонят куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка.

Слышу я – правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе на всё отвечает, у неё естество густое, её хоть руками бери.

Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я

и сам дурачком притворялся. Так – спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место, и всё ярятся, бормочут, а я – слушаю. И понимаю так, что спорить им будто бы не о чем, одинаково согласны: всё на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное – уничтожить, никаких отличий ни в чём не допускать, тогда все люди между собой – хотят, не хотят – поравняются и всё станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия, – попов, купцов, чиновников и вообще господ, – запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.

– Душу окрылить надо, – доказывал старик. – Главное – свобода души, без этого нет человека!

Я все эти мысли проглотил, как стакан водки с устатка, и действительно душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю:

«Господи Иисусе, какая простота святая живёт между людьми, а они всю жизнь маются!»

Думаю и даже улыбаюсь, а воры ещё больше смеются надо мной.

– Смотрите, Язёв о невесте думает!

Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам, знаешь, всё слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать

слесаря, резко говорил он, а в то время бог ещё был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.

Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила, что ли. Однако предлагает:

– Живи у меня, Яков; ты человек смирный, с придурью, бродяжить тебе не годится.

Отказал я ему. Я уже кое-чего нагляделся, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует:

– Иди, иди, Яков, ищи своё счастье.

Конечно, я рассказал ей всё, до чего дошёл, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся, как плотно сложились мысли мои, как гладко идут. Любаша соглашается:

– Всё – верно. Так и надо.

Я – ей:

– Шла бы ты со мной, Любаша!

Забоялась:

– Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла.

Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе её я себя видел, как в зеркале. Прощалась – заплакала однако...

Вернулся я снова в Барнаул, к доктору. Это был человек хороший, даже почти совсем умный, только умный по-старому, а не по-моему. Был он характера резкого и на барина

разве по привычкам похож, даже обличье имел мужицкое: плотный, коренастый, ходил солидно, как гусь, зря руками не махал; лицо большое, красное, борода. В ремесле своём был удачлив, лечил ловко. Водку пил помногу, а пьян не бывал. Больше водки – красное вино любил пить. Глаза у него прямые, с усмешечкой внутри, он ею будто говорил каждому:

«Не притворяйся, я твоё уродство вижу».

Однако, хотя и бабы его любили и сам он был до них жаден, а я видел, что жить ему скушно, хмурится доктор, кричит, песенки сквозь зубы поёт и всё отхаркивается, будто гнилого поел. Нравился он мне простотой своей, а усмешечку его не любил я, показывала она, что доктор и меня дураком считает и ни на грош не верит мне. Обидно было. И – побаивался я его.

Встретил он меня хорошо, шутит:

– Ага, явился, мешок кишок!

Это у него любимая поговорка была – мешок кишок, он со всеми говорил шутливо, как с малыми детьми, сунет руки в карманы и – шутит. Поднёс мне водки стакан, приказал старухе самовар согреть, сам пришёл на кухню:

– Ну, говорит, рассказывай!

Было это зимней порой, к ночи, выюга крутила, гудела, сижу я с доктором за столом, как будто в трактире с приятелем, рассказываю, а он слушает, папиросы курит, бороду щупает, – борода небольшая, куриным хвостом.

До этого вечера я ни с кем, кроме Любаши, открыто не

говорил, а тут разманило, возмутился во мне смелый дух. Сидя в тюрьме да по дороге я научился думать обо всём даже до того, что задумаюсь и – будто нет меня, только одна душа в воздухе живёт. Говорил так бойко, что сам себе удивлялся: вот бы Любаша послушала!

Рассказал, конечно, про старики, про слесаря – доктор хочет:

– Ишь ты, говорит, как тебя вывихнуло! Ну, это хорошо: дураку жить – легче, умному – забавнее. Теперь тебе, Яков, надобно книжки читать. Ну, только в книжках доказано наоборот: управляет нами закон, который всё простое дробит на особенное. В дочеловеческие времена, говорит, земля была сплошь камень и родить не могла ничего, до поры, пока не раздробилась на песок, глину, потом – чернозём. В незапамятных веках был один зверь, одна птица, а теперь от них разродились тысячи разных птиц и зверей. Также и все древние люди: сначала все были мужики, потом от них пошли князья, цари, купцы, чиновники, машинисты, доктора. Это – закон!

Ловко говорил; будто в мешок зашивает меня. И, конечно, шутит:

– Надо, говорит, смотреть на всё с этой кочки, в нашем болоте она самая высокая.

Сильно огорчил он меня словами своими и даже на время сбил с пути. Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает. Его книжки – тол-

стые, в переплётках, их два шкафа, а эти – тоненькие, детско-го вида, с картинками. Читаю. Назначение книжки имеют, чтобы отвести меня в сторону от моих мыслей; рассказывают, как люди жили в старину, а я, значит, должен понимать, что в старину жили хуже. Успокоительные книжки. Однако я соображаю:

«Как мне знать, правильно ли тут написано? Это было не при мне. К тому же я человек сегодняшней, какое мне дело до прошедшей жизни? Вчерашний день лучше не сделаешь, ты меня научи, как надобно завтра жить».

Доктор спрашивает:

– Читаешь?

– Читаю.

– Интересно?

– Интересно.

Молчу, конечно, что книжки его не по душе мне, не объясняю, что мне интересно не то, что там написано, а – для чего писалось. Писалось же, говорю, для успокоения моего.

Однако – читать я привык; наклонилась над книжкой, глядишь в неё, как в омут, текут, колеблются разные слова, и незаметно проходят часы; очнёшься – удивительно! Будто тебя и не было на земле в часы эти. Слов книжных я не люблю помнить, не умею, да они мне и не нужны, у меня свои слова есть. Некоторые слова и вовсе не понимал: шелестит слово, а для меня ничего не обозначает. А суть книжки мне всегда легко давалась. Чужие мысли очень просто понять,

когда свои в голове есть. Своя мысль – честный огонь, при нём чужую фальшь сразу видишь. От моей мысли всякая чужая прячется, как клоп от свечки. Этим я могу похвастать.

Гораздо больше, чем от книжек, видел я пользы для себя от бесед с доктором. Бывало – после работы в больнице и объезда недужных по городу, скинет доктор пиджак, ботинки, наденет туфли, ляжет на диван, около него бутылка красного вина, лежит он, курит, посасывает кислое винцо это, ухмыляется, балагурит, всё об одном:

– Мы-де присуждены жить под властью прошедших времён, корни пустяков вросли глубоко, корчевать их надо осторожно, а то весь плодородный слой земли испортишь. Сегодняшним днём командует вчерашний, а настоящая жизнь обязательно будет командовать будущей, и от этой канители не увернёшься, как ты ни вертись.

Но иной раз одолеет его скука, покинет осторожность, и тут доктор обмолвится:

– Конечно, лучше бы всё сразу к чёрту послать...

Однако – сейчас же и прибавит:

– Ну – это невозможно!

Досадно мне слушать его.

«Ведь вот, думаю, и умён человек, и знает всё, чего надо и не надо знать, и видно, что жизнью своей недоволен, а простого решения боится». А я уж решения достиг и остановился на нём твёрдо: ежели райская птица, человечья свобода, запутана сетью фальшивых пустяков до того туго, что совсем

задыхается, – режь сеть, рви её!

Я даже намекал доктору, подсказывал ему, что нет другого способа освобождения человеку, а прямо сказать ему это не хотел: не то боялся – осмеёт он меня, не то – по другой причине. Очень уважал я его за простоту со мной, за эти вечерние беседы, и если он, бывало, грубил мне, кричал на меня за какой-нибудь беспорядок – я на него не сердился.

От книжек его и разговоров с ним мне та польза была, что незаметно потерял я веру в бога, как незаметно лысеют: ещё вчера щупал макушку – были волосья, а вдруг – хватъ – на макушке голо! Да. Не то, чтобы стало мне боязно, а почувствовал я эдакий холодок в душе неприятный. Ненадолго однако. Вскоре догадался, что до этого жил я на земле, как в чужой стороне, глядя на всё из-за бога, как из тёмного угла, а теперь сразу развернулся предо мной простор, явилась безбоязненность и эдакая лёгкость разума. Простился я с богом, прямо скажу, без жалости. После окончательно увидел, что в бога верует только негодница людская, враги наши.

Крючки, которыми меня к чужому делу пристегнули, я научился видеть везде, куда их ни спрячь, и видел всё мелкое, пустяковое, всю скорлупу наружную в жизни доктора. Много он лишнего накопил: книг, мебели, одёжи, разных необыкновенных штучек. Доказывал, что необыкновенное нужно для красоты жизни, – для красоты пожалуйте в лес, в поле, там цветы, травы и никакой пыли. Звёзды! Звёзды тряпкой вытирать не требуется. А от этих разного вида земных бля-

шек – только вредное засорение жизни и каторга мелкой работы.

Доктор одевался, умывался – скажем – пять минут, а запонки в рубашу втыкал и галстук завязывал тоже не меньше времени. Втыкает, завязывает, а сам по-матерному ругается, как мужик. Тоже и ботинки с пуговицами – сколько времени требуют? А простой, русский сапог одним махом на ногу насаживаешь. Понимаете? Все эти галстуки, застёжки, ленты, кружева и всякие фигурки украшения естества жизни я отчисляю от человека. Обставься крупной вещью – и сам крупнее будешь. А игрушки – прочь, игрушки надобно вымести вон...

Господскую привычку к пустякам я видел и в речах доктора. Кажется – правильно говорит человек, а отказаться от бляшек не хватает у него разума. И не видит он, что всё господство пустяками держится: книжками, игрушками, машинками – бумажной цепью оплело людей. Конечно, видеть это ему и пользы нет, – он сам соучастник господства. И выходило в речах у него так, что, ударив раз, два топором, он это же самое рубленое место паутиной разных словечек прикрывает, всё насчёт осторожности, дескать – сразу хорошо не сделаешь. Запнулся человек сам за себя. Даже иной раз жалко было мне его.

Между прочим, связался я с одной; была в больнице сиделка, рыжая, с зелёным глазом; в левый глаз ей скорняк, любовник, иглой ткнул, глаз вытек довольно аккуратно, ве-

ко опустилось плотно, и особенного безобразия лицу её этот случай не принёс. Лицо – худощавое. Нос был несколько велик, нос тоже не мешал мне. Жила она прищурясь; молчаливая такая, строгая, а говорили про неё, что распутна. И вот потянуло меня к ней, чувствую, что зелёный глазок её разжигает плоть мою, как этого никогда не было со мной. Хотя я и хромой, а, видишь, мужик крепкий. Рожа у меня в ту пору ещё добродушнее была. Бабы очень нахваливали глаза мои. Даже Любаша снова сказала:

– Глаза у тебя, Яков, как у барышни.

Однако при всём этом Татьяна отвергает меня. Говорю ей:

– Ты – кривая, я – хромой, давай вместе любовь крутить.

– Нет, говорит, не хочу, устала я от вашего брата.

Упрямство это ещё больше распалило меня. Тогда поставил я игру на туза червей, на сердце, одолел бабу, и – точно в кипяток меня бросило; дико жадна и горяча была на ласку эта женщина! Любовь у неё была похожа на драку: я скоро заметил, что ей не столько любовь приятна, сколько приятно лишать меня силы, замаять до бесчувствия. Не выйдет это у неё, не одолеет – сердится.

И замечательного прямодушия была; спрашиваю её:

– Обманывать меня будешь?

– Не буду, – говорит. А подумав несколько, вдруг – довесила:

– Только, видишь ли...

И – как по уху ударила:

– Буду.

Я её чуть не избил, да она так вздохнула и так виновато поглядела единым глазом на меня, как будто не в её воле обманывать мужиков. Огорчился я, конечно, любовь – дело опасное, того и гляди, что заразишься стыдной болезнью. А всё-таки прямота её понравилась мне. Вскоре увидел я, что и по душе она – сестра мне и разум у неё не спит.

Характером была трудная; чуть заденешь её, так вся и вспыхнет, а из каждого слова злоба брызжет, и глазок горит нехорошо, ненавистно. В ласковый час спросил её:

– Чего ты такая злая?

Тут рассказала она мне необыкновенную историю: жила сиротой у сестры, а сестрин муж, машинист, выпивши, изнасиловал её, когда ей шёл ещё шестнадцатый год; месяца два она, от стыда и страха, молчала об этом, терпела насилие, ну, а потом сестра догадалась и выгнала её из дома. Года три жила она проституткой, потом избил её пьяные, легла в больницу, доктор присмотрелся к ней и нанял в сиделки. Был скандал, требовали, чтоб он прогнал её, но он не согласился.

– Жила ты с ним? – спрашиваю; она, прикрыв глазок, говорит насмешливо:

– Где уж, нам уж, выйти замуж за такого зверя! Ни раза и не дотронулся.

– Что ж ты, говорю, насмехаешься? Тебе его благодарить надо.

Облизала губы и ворчит:

– Я ещё поблагодарю.

Просто говоря, была она женщина редкая, это потом увидите. Тело тонкое, ловка, как белка, одевалась в свободные дни хоть и не богато, а достойно настоящей женщины из благородных. Да. Любаша была миловиднее лицом, а телом – неуклюжа.

Вот – живу я, обтачиваю сам себя потихоньку, а война всё разыгрывается, глотает людей, как печь дрова. Позвали на войну и доктора, он говорит:

– Ну, мешок кишок, едем, что ли, изломанных дураков чинить?

Поехали. Татьяну тоже взяли сестрой, она фыркает:

– И – верно: дураки! Поломали бы ружья, пушки, вагоны – вот вам и война.

Известно, что на войне у нас ни удачи, ни порядка не было. Гоняют наш поезд со станции на станцию, катаемся без дела, а мимо нас тучами едут солдаты; туда едут – песни поют, оттуда ползут – стонут. Доктор сердится, бумаги пишет, телеграммы, требует, чтоб его допустили к делу. Говорит мне:

– Гляди, мешок кишок, как с народом обращаются!

Посерел, скулы обострились, рычит на всех и без оглядки ругает начальство, войну, беспорядок жизни. Очень я удивлялся смелости его: зачем рискует? Указываю Татьяне:

– Вот как дерзко человек к делу рвётся!

А она, прикрыв глазок, цедит сквозь злые зубы:

– Ему за это чины, ордена дадут.

«Ну, нет, думаю, тут должен быть другой расчёт!»

Доктор говорил обо всём честно, правильно, как трезвой жизни сын про отца пьяницу, как наследник хозяйству. Слушающие на станции, солдаты охраны и весь мелкий народ слушает его речи с полной верой. Даже жандармы соглашаются – плохо, всё плохо! Мне хотелось предупредить Александра Кириллыча, чтоб он говорил осторожней, ну, не нашёл я подходящей для этого минуты, да и подойти к нему опасно было, того и жди, что простым порядком в морду ударит, совсем освирепел.

Вдруг выскочил на станцию легавый старичок, с красным крестом на рукаве, в шинели на красной подкладке, инспектор что ли, выпучил глаза и завертелся, закружился, орёт на доктора:

– Под суд, под суд!

Доктор в дятлов нос ему бумаги тычет:

– Это что?

Ну, для начальства бумага – не закон, как для богомаза икона – не святыня. Арестовали доктора, посадили к жандармам, – Татьяна моя начала бунтовать станцию. Тут я впервые увидел, до чего смела баба, так и лезет на всех, так и кидается. Некоторые смеются над ней:

– Что он, доктор, любовник тебе?

И надо мной смеются. Мне – конфузно. Хоть и не заме-

чал я, что она обманывала меня с доктором, да ведь разве это заметишь? Дело тихое, минутное, а у баб и одёжа лучше нашей приспособлена для блуда. Утешаюсь:

«Это она из благодарности за доктора старается».

Не знаю, как бы разыгрался Татьянин бунт, в те дни необыкновенное летало над землёй, как вороньё на закате солнца. Жандармы на станции с ног сбились, револьверами машут, угрожают стрелять. В эти самые минуты началась революция – побежал солдат с войны.

Ворвался к нам поезд, да так, что мимо станции версты на полторы продрал, ни кондукторов, ни машиниста не было на нём, одни солдаты. Высыпались они на станцию, и начался крутёж, такую пыль подняли – рассказать невозможно. Начальника станции – за горло:

– Давай машиниста!

Старика жандарма ушибли до смерти, – злой был старичок. Всё побили, поломали, расточили, схватили машиниста водокачки и – дальше! Остались мы, как на пожарище, ходим, обалдев, битое стекло под ногами хрустит; доктор освободился, сунул руки в карманы, мигает, как только что спал да проснулся.

– Нам бы уехать отсюда, – говорю.

Он мне кулак показал:

– Я те уеду!

Приказал избитых, раненых в наши вагоны таскать, только что мы успели собрать их – ещё поезд гремит, тоже по-

лон сумасшедшей солдатней, и – пошло, покатило, стал народ вывёртываться наизнанку. Тут рассказывать нечего, вам известно, какая тогда человеческая метель буянила.

Страха в те дни испытал я на всю жизнь. Особо страшно было, когда наш поезд угнали солдаты, фельдшер, сёстры, санитары разбежались, и осталось нас трое: доктор, да я с Татьяной, да станционные, совсем уже обезумевший народ. А мимо нас всё едут, едут с воем, с гиком, – подумайте, каково было ночами! Станция небольшая, место глухое, леса кругом, недалеко прижалась к лесу деревенька поселенцев; зажгут огни в деревне, а огни, как волчьи глаза, – жуть! Проживёшь в тёмной тишине, как в яме, часок-другой, и снова слышно: гремит, воем, катится одичалый солдат, будто черти гонят его.

Дней десять в этом страхе торчали мы, а – зачем? Этого я не мог понять. Больных у нас было всего девять человек, четверо померло, а остальные не так хворы, как напуганы. Доктор всем говорит, что началась революция и должна быть перемена господства власти. Я – соображаю:

«Значит: другую узду на людскую нужду».

Догадка эта в ту пору у меня хорошо отлежалась, до плотности камня. Татьяна слушает доктора въедчиво.

Остался в памяти моей об этих днях один мелкий случай: подхожу я к жандармской квартире, где больные прятались, слышу Татьянин сухой голос:

– Брезгуете?

Заглянул в окно, стоит она перед доктором, струной вытянулась, а он сидит, курит, бормочет, глядя под ноги ей:

– Иди, иди...

Вышла кривая на крыльцо, вытирает руки подолом халата, говорит:

– Жить нам тут незачем.

Смеюсь внутри себя, соглашаюсь:

– Конечно, незачем.

Я за ней очень следил, – хотелось мне поймать её с доктором. Тогда бы избил я её, потому что горда была она со мной, несчастной прошлой жизнью своей гордилась. А так, без вины бить её, – не было у меня случая. И надоела она мне несколько.

Простились с доктором и пошли куда глаза глядят, ехать Татьяна не согласилась, понимая, что она для солдат – мышам сало. Шли вдоль железной дороги, зайдём в деревню – накормят нас, напоят. Жить можно. Крестьянство насторожилось, любопытствует: чего ждать? Татьяна докторовы слова говорит, я тоже, при хорошем случае, скажу тому, другому:

– Упрощения жизни ждать надо, вот чего. Слабеет сила господства, иссякает; вон они и воевать разучились. Пустяками они держат нас под собой. Смотрите, – надвигается наше время.

Отдохнем и опять шагаем, беседуем. Вижу я, что хоть у Татьяны кипит великая злоба против доктора, а речам его

она поверила, революцию эту принимает как праздник свой.
Говорю ей:

– Ты, дурочка, одно помни: без лакеев господ не живут.
Фыркает, не слушает меня.

Потом приснастились мы к смирному поезду и приехали в город Читу, а там идёт крутёж Во всю силу, на улицах, на площадях шумит народ, шевелится, вроде раков в корзине, у заборов китайцы прилипли, ухмыляются. Между прочим, скажу: китаец – человек умный, он со всеми согласен, а никому не верит. В карты играть с китайцем – не пробуй, обыгрывает.

Татьяна – у праздника. Блестит зелёным глазом, оскалила мелкие зубы свои, кричит всем:

– Довольно господа брезговали нами, будет!

Гляжу я на неё и тоже ухмыляюсь китайской манерой. Мне какая выгода, что некоторые шашки в дамки прошли? Пристроился газетой торговать, хожу, поглядываю. Завёл знакомство с парнем одним, – политический, только что со ссылки бежал, силач, ручищи длинные, а – смешно сказать – человек мелкого дела, часовщик. Состоял в окрошке этой, которая власть в городе забрала. Бунт понимал так, что-де это первый шаг к народной свободе. Я ему говорю:

– Ты – шире шагай! Ты шагни через окрошку эту. Ты – мол – не ликуй, что в Думе рядом с господами сидишь.

– Погоди, – обещает, – шагнём!

Хороший был парень, а – простоват. Заторопился пове-

ритель в партию, а тогда – какая партия была! Я знаю, что была и рабочая, и крестьянская, и господских не одна, да только все они тогда дело крутили на власть, не на интерес народа, а против царя. Это вот теперь наша партия правильно идёт.

При мне и началось там необыкновенное истребление народа, явился генерал с солдатами, и вся затея рассыпалась прахом. Великое неистовство было. Рассказывал доктор, как в Петербурге народ били, ну, я думаю, это пустяки, в Петербурге-то. В Чите народ истребляли, как кедровые орешки, где застигнут, там и бьют, без всякой волокиты. Так торопились убивать людей, как только можно от великого страха. Страх этот на всех рожах был: у солдат, у штатских. Взглянешь мельком – глаза человека будто остеклели, как у слепого или покойника, а присмотришься – дрожат глаза.

Был у часовщика приятель Пётр, резкого ума парень, моряк какой-то, тоже беглый; на левой руке у него шесть пальцев; хотела его полиция убить, а он откупился за семнадцать рублей и говорит:

– Вот, смотрите, товарищи: словами мы всё разрушаем, а на деле крысу убить стыдимся, не то что городского, и если убьём кого, так нам это противно, а они нас бьют, как японцы тюленей.

Это – верно сказано: я сам видел, как у политических длинна дорога от большого слова к маленькому делу. Вообще читинское время было для меня довольно поучительное, посмотрелся, надумался я и окреп в своих мыслях ещё боль-

ше.

Я, счастливым случаем, уцелел от смертной расправы; арестовали меня с этим часовщиком и повели расстреливать; вдруг унтер присматривается ко мне, спрашивает:

– Ты, хромой, откуда – не из Барнаула ли? Ну, – говорит солдатам, – я его знаю, это – дурак! Я его очень хорошо знаю, он у доктора в кучерах жил.

Я – обрадовался, шучу:

– Дураков зачем убивать? Это умников перебить надобно, чтоб они нам, дуракам, простую жизнь нашу не путали.

Унтер толкнул меня в переулок, кричит:

– Ступай прочь, сукин сын, моли бога за нашу доброту.

Убежал я, а часовщика расстреляли. Татьяна ходила смотреть на него, лежит, сказывала, как живой, горсть земли в руке зажал, а сапоги сняты.

С Татьяной я простился. Наклевалась она, длинным-то носом, политических мыслей у моряка и давай учить меня. Ну, а я уж видел, что политические – мелкий народ, разум у них вывихнут книжками и не понимают они, что такое настоящее упрощение жизни. Я всякого человека насквозь вижу, я вам говорю: вернее своей мысли – меры нет! Политика – это тоже направление к господству, к насильству. Видел я, как партийные состязаются друг с другом, а у всех – одна цель: показать себя умнее другого.

Татьяна говорит мне:

– Я знаю, что надо делать, а ты только чадишь и, кроме

себя, ничего не склонен видеть...

Глупо говорила; она стала ещё злей, а со зла люди всегда глупеют. И глаз у неё стал острее, травянистый глаз, вроде как бы медь окисла в зрачке, и такой стал ядовито мокренский глазок. В голосе – тоже медь звенит. Подурнела, ещё более усохла, нос вытянулся, губы истончились.

Да.

– Кроме себя, говорит, ничего не видишь.

Каждый из нас, дурёха, живёт в своей коже, она ему всего и дороже. А кожа просит тепла, мягкости. Вот – святые, они будто на камнях спали, а оказалось, что святые-то и не надобны никому.

Стала мне эта женщина окончательно противна, ушёл я от неё и нанялся сторожем на станцию одну, – название у неё смешное, вроде Потаскун. Живу, оглядываюсь. Поникли люди, сердце упало у всех. Прикинулся дурачком, дело своё делаю аккуратно, стараюсь всем угодить и говорю глупые мои слова: людей надо уравнивать, жизнь упростить. Это – все понимают. Говорю бесстрашно и даже при жандарме, – жандарм там был хохол Кириенко, огромный мужик, морда – как у сома, усы китайские. Этот – действительный дурак. Вытаращит глазищи, слушает и сопит, а ночами – я ночным был – придёт ко мне, упрекает:

– Ты говоришь то самое, за что вашего брата насмерть бьют. Это тебя политические научили.

А я ему в простоте душевной отвечаю:

– Политические, Осип Григорьевич, не учителя простецам, а – враги. Они хотят власти, а нам нужна свобода души.

Сопит Кириенко:

– Очень приятны твои слова, после того, что случилось. Всё-таки ты будь осторожнее, потому что хошь ты и блаженный, ну, на это не посмотрят. Я, говорит, вижу, речи твои по евангелию, но теперь и это не годится.

Коротко сказать – стал мне Кириенко добрым дружкойм, и это мне очень помогало, потому что речи мои так по сердцу людям пришлись, что даже с других станций стали приезжать послушать меня, а некоторые и учить, в партию звать. Перед этими я дурака крутил во всю силу разума, и ничего, кроме досады, они от меня не получали, а Кириенке разика два сказал:

– Поглядывай!

И всё бы у меня шло хорошо, и жил бы я там спокойно года, – вдруг чёрт сунул на мою дорогу Сеньку Курнашева, был такой смазчик, кудрявый, рожа пёстрая, как у маляра, веснушками обрызгана, плясун, гармонист. Вроде паяца, а – шустрый, учение моё сразу принял. Однако – другие люди научили его не добру. Как-то весенней ночью слышу я – бах, бах! Стреляют за станцией, около казармы; бегу туда, не торопясь, первому-то прибежать – расчёта нет; вижу – Сенька мчится к водокачке, на его счастье – не окрикнул я Сеньку, думал: не он, а в него стреляли. Кричат:

– Кириенку убили!

Действительно: лежит Кириенко поперёк тропы, головой в кусты, руки вперёд головы выкинул. Служащие сбежались, опасливо увещевают друг друга:

– Не трогайте тело.

Все поблекли, испугались, в ту пору за убийства взыскивалось очень строго: убьют одного, а вешают за это троих, пятерых. Сенька прибежал с молотком в руке, знаете – молоток на длинной ручке, которым по вагонным колёсам стучат? Вот с таким. Суется Сенька больше всех и твердит:

– Я – на водокачке был, – вдруг слышу – палят, а я на водокачке...

«Ах ты, думаю, дерзкая мышь!»

А в это время другой жандарм, старичок Васильев, кричит:

– Браунинг нашёл, и от него нефтью пахнет, прошу всех помнить – пахнет!

Люди нюхают оружие, и Сенька тоже понюхал, усмехается:

– Верно, пахнет!

А Васильев и объявляет ему:

– Нефтью пачкаются у нас двое – ты да Мицкевич, поэтому я вас подозреваю.

Глупый был старичок, ему бы молчать. Заявляю, что я в минуту выстрела видел Сеньку около водокачки, – мне парня жалко, – а Васильев своё твердит:

– Тут, главное, – нефть и рукоятка сальная. Тебя, Яков, я

тоже арестую, ты сторож и должен был видеть.

Сенька отпрыгнул от него, да с размаха как свистнет старичка молотком-то по виску, тот и не охнул. Конечно, Семёна схватили, связали, меня – тоже, да ещё Мицкевича, машиниста с водокачки, заперли нас в зале третьего класса, сторожат, под окнами ходят, палки в руках у всех.

Мицкевич поплакал, поныл и заснул, а я шёпотком говорю Сеньке:

– Зачем ты это сделал, дурак?

Не сознаётся, пыхтит; я его живо согнул в дугу, поник парнишко и рассказал, что его партийные уговорили на это дело, потому что Кириенко донёс на некоторых, которые ко мне приезжали. Ну, в этом деле и моей вины был кусок, успокоил я парня, уговорил:

– Молчи!

Тогда суд был строгий, – найди виноватого где хочешь, а – подай сюда! Наказали парня смертью, велели повесить, хотя я и настаивал, что он в этом деле не участник и что я его видел у водокачки. Обвиняющий офицер отвергнул меня, заявил, что:

– Всеми здесь указано, что сторож этот – полуумный, верить ему нельзя.

Мицкевича вовсе не судили, а меня оправдали. Приятели очень удивлялись:

– До того опасно ты дурака крутил, что мы думали: затрёт тебя суд!

Со станции меня, конечно, рассчитали, и лет семь я прожил цыганом, – где только не носило меня! На Урале, на Волге, в Москве два раза, в Рязани, по Оке ездил, матросом на буксире, Саватьму эту видел, – нищий городок. Живу, гляжу на всё, а душа беспокойна и упрямо ждёт: должно что-то случиться.

В Рязани зиму я легковым извозчиком был, конечно – от хозяина. Вот одна еду порожнем по улице, гляжу – монашенка идёт, и это – Любаша! Даже испугался, остановил лошадь, кричу:

– Любаша!

И точно обожгло меня – не она! Даже и не похожа – лицо гунявое, глаза сонные. С того часа обняла меня тревога ещё больше и потянуло в Сибирь. Вы, может, так понимаете, что это – баловство, Любаша? Нет, тут другая музыка, тут, я думаю, детское играло в душе. Есть в мире такой особенный, первый человек, встретишь его, и – будто снова родился, вся жизнь твоя иначе окрашена. Жил я в Перми у инженера дворником, инженер этот пушки сверлил, человек суровый, было ему уже за сорок лет, дети у него, жена, а первый человек в доме – нянька. Ей лет восемьдесят, едва ходит, злая, тленом пахла, а ему была она вместо матери. Да и не всякую мать эдак-то уважают, как он – няньку.

В конце весны очутился я в Томске, пошёл в больницу заниматься и сразу наткнулся на доктора, Александра Кириллыча. Очень обрадовался, хоша встречи с людьми, которых

раньше видел, не по душе мне: намекают они, что ты всё на одном месте вертишься. Доктор – поседел, щёки жёлтые, зубы в золоте; он тоже обрадовался, руку мне жмёт, по плечу хлопает, как приятеля; конечно, шутит:

– Ну что, мешок кишок, много ли истребил необыкновенного?

Принял меня на службу к себе, и опять я заведую порядком его жизни. Жил он при больнице, во флигельке, окнами в сад, две комнаты, кухня. И снова рассказываю я ему, как старуха внуку, про всё, что видел, говорю и сам слушаю: очень интересно! И пользу вижу для себя, – как будто всё лишнее с души в чулан складываю, прячу, и – очищается настоящая суть души. Рассказывать – очень полезно, рассказал, забыл и – снова чист пред собой. Про Татьяну рассказал, хотел испытать: заденет это доктора? Никак не задело. Дымит табаком, ухмыляется.

– А ведь не просто всё это, Яков, а?

Вижу, что ума доктор не потерял, а в мыслях никуда не подвинулся. Досадно было слушать, как он старается зашить меня в мешок, доказывая, какие петли везде заплетены, и не мог я понять: зачем это нужно ему? Трудно мне было с ним.

Вдруг – всё понял: верные мысли приходят внезапно. Случилось это в цирке, я всё в цирк ходил, глядеть на борцов; очень удивлял меня один чухонец. Не великой был он силы, не велик и телом, а одолевал людей и тяжеле и сильнее себя, одолевал необыкновенной своей ловкостью, тонкой вы-

учкой. И вот смотрю я, как он охаживает здорового борца, русского, и сразу, как проснулся, догадываюсь:

«Выучка – вот главная фальшь, в ней спрятан вред жизни».

Даже в пот ударило меня и будто все косточки мои, вздрогнув, выпрямились. В двух словах клад для души и ключ к жизни:

«Выучка – вред».

Ею одолевает слабый сильного, ею народ лишён свободы. До слепоты ясно озарило меня, что отсюда идёт всё необыкновенное и здесь начало дробления людей. Значит: дело так стоит, что надобно всех равномерно выучить или – объявить выучку запрещённой. Помню – шёл домой осторожно, будто корзину сырых яиц на голове нёс, и был я как выпимши.

Попросил доктора, чтобы дал он мне те книжки, которые в Барнауле давал, читаю и вижу вполне ясно: раскол людям от выучки. С той поры я окончательно выправился и отвердел сам в себе на всю жизнь. Я правильно говорю: своя мысль – море, а чужие – реки, сколько их стекает в морской-то водоём, а вода морская всё солёная.

К доктору гости приходили, всё люди солидные, вели они политический разговор, не стесняясь меня; это было лестно мне. Изредка являлся осторожный старик, серый такой, в очках. Сутулый, шея у него не двигалась, так что головой он ворочал по-волчьи, вместе с туловищем, и голос у него подвывал голодным, зимним воем. Приходил он всегда с вокза-

ла с чемоданчиком, потрёт руки, лысину, бороду и требует отчёта:

– Ну-с, как живём?

К старикам у меня нет уважения, старики – вроде адвокатов, все грехи, поступки готовы защищать. Кроме того, бродяги, я не встречал ни единого старика с твёрдым умом. Конечно, я понимал, что этот – опасно политический волк, а после Читы политика мне была вполне понятна.

Вот, летней ночью, приходит он с чемоданчиком, точно из печки вылез, закоптел весь, высох, поставил чемоданчик на пол и вместо – здравствуй! – говорит:

– Ну-с, будет война.

Действительно: прорвало глупость нашу, снова заварили войну. Крестный ход, колокольный звон, ура кричат на свою погибель; доктор подмигивает:

– Вот тебе, мешок кишок, упрощение жизни!

Приуныл я. В ту пору никто не мог понять, какую пользу эта война принести может, хотя старик и доказывал доктору, что война обязательно кончится революцией, однако в этом я утешения не видел. Революция – была, а толку не родила; после неё ещё хуже стало.

Доктора потребовали в армию, а он был до того ушиблен этой войной, что сказал волковатому старику:

– Пожалуй, честнее будет, если я пулю в лоб себе всажу.

Старик – своё твердит:

– Разобьют нас в три месяца, и будет революция.

Говорить о времени войны этой – нечего. Вавилонское безумие и суета сумасшедших. Мужиков сибирских тысячами гонят в Россию, а оттуда на их место гонят чехов, венгерцев, немцев и – чёрт их знает, каких ещё. Разноязычие, болезни, стон, смешение кровей. Бабы одичали. Прямо скажу – оробел я. Доктора гоняют из города в город, из лагеря в лагерь, – он по пленным делам был.

Отойти от него я не решался, он меня от солдатства освободил. Замечательный человек, – ночей не спит, пить-есть время не находит, очень восхищался я трудами его. Непонятно было: что доброго сделали ему люди, из какого расчёта заботился он о них? Да и люди-то чужие. На себя надежд нет у него, чинов, орденов – не ищет, с начальством – зуб за зуб. Был такой случай: загнали куда-то пленников и забыли про них, явился к нам прапорщик – жалуется, люди у него замерзают,дохнут с голода. Доктор своей властью от первого же поезда велел конвойным солдатам отцепить два вагона муки, гороха и разбазарил на пленников. Его – под суд за это. Однако – отложили суд до конца войны. Вообще он неистово законы нарушал в заботах о людях.

В Тюмени встретил я Татьяну, кружится около пленников, одета в краснокрестный халат, тёмные очки на носу, пополнила, урядливая. Сказала, что она, ещё до войны, выучилась на фельдшерицу. Доктор, само собою разумеется, поднял меня на смех:

– Выучка, Яков, я? Никакого упрощения жизни не замет-

но, а?

А я и сам в то время, – от усталости, что ли, – поколебался в этих мыслях, потускнел разум у меня.

Вдруг – как будто приостановилась чёртова мельница: по дороге в Тобольск, на какой-то станции подали доктору депешу, прочитал он её, зажал в кулак, побелел весь и говорит, глядя горло:

– Яков – царя прогнали...

Меня тоже покачнули эти слова. Никогда я не думал о царе серьёзно, и если говорили, что от него всё зло, – не верил в это. Зло – везде видел я. А теперь подумалось: а что, как и в самом деле царь и был головой господства? И вот – оторвали голову.

Доктор шумит, помощник его, Окунев, чуть не пляшет, и у всех вижу радость. Неужели – доехали и, значит, выпрягайся, народ? Вижу – так оно и есть, ощетинился народ ежом, вцепился в землю, как ярый парень в девку, и видать, что того, что было десять лет назад, он теперь не допустит, нет! С войны люди побежали не теряя разума, хозяйственно, с винтовками, а у некоторых и пулемёты и весь воинский снаряд. А главное – что им ни говори, всё понимают: верно – кричат – довольно с нас, терпели до конца. За этот год я, пожалуй, говорил больше, чем за все свои сорок три. В грудях у меня колокол гудел. Великие радости испытал я в тот год, большое уважение от людей ко мне видел!

Пространства там огромные, места глухие, не то, что

здесь, в тесноте, где деревня деревню в бок толкает, вся земля дорогами исхлѣстана и на каждых десяти верстах село, на каждой сотне – город. Там, сквозь леса, не всё доходило до нас вовремя, так что когда начался крутѣж назад, к старым порядкам, – я этому сначала не поверил.

От доктора я отказался, его в Иркутск угнали, живу в селе, под Николаевском, вдруг – конники приезжают, приказывают: пожалуйста воевать! С кем? Почему? Офицер, кудрявый такой, большелобый, объясняет: с Москвой, там будто какие-то немецкие наѣмники господство захватили. Говорил он довольно разумно, а – не верилось ему. В Сибири Москву не любят. Покряхтели мужики и пошли, а человек двадцать отговорил я: война эта – дело непонятное нам, кто её затеял – мы не знаем, прячясь, ребята, в леса, выжидай, что будет, гляди, где господа.

Тут, на моѣ счастье, точно с облака спрыгнули двое городских парней и сразу объяснили нам господские затеи.

– Эта война – против народа, вас зовут могилы рыть самим себе. Это, говорят, змея недодавленная подняла голову. А вам, крестьяне, надо держаться Москвы, там честно думают. Идите за большевиками, бейте господ по затылкам, по тылам, – вот ваше дело.

Говорили они замечательно. Мужики видят, что я тоже одинаково с ними думаю, очень довольны мной.

– Ты, просят, не уходи от нас, твоя голова нам полезна.

А кольчаковские всё нажимают на деревни, на мужиков,

поборы пошли, грабёж, хлеб тащат, скот уводят, сено – всё! Слышим – кое-где мужики в драку пошли, отстаивая своё хозяйство, а рабочие помогают им. Явился и к нам рабочий отряд, девять человек, начальник у них кочегар, Ивков, чёрный, сухой парень, длинный, сядет на лошадь – ноги до земли. Просят нас парни эти помочь им побить грабителей, их человек сорок, конных, верстах в тридцати в деревне бесчинствуют. Наши, тоже неоднократно обиженные, согласились, собралось шестьдесят семь человек, всё больше солдаты, даже и старичье пошло. Не в охоту было это мне, однако и я тоже винтовочку взял, иду.

Подобрались к деревне по свету и дали бой. Ну, бой был не велик, троих подстрелили до смерти, человек пять поранили, у нас тоже один был убит, другой в колодезь свалился, утоп. Четверых пулями задело, в том числе и меня, по неосторожности моей, чкнула пуля в плечо, в мякоть. Стрелок я был никакой, охотой никогда не занимался, а однако распалило и меня; ружьё – инструмент задорный, ты его только наведи, оно само стреляет. Делом этим мужики очень возгордились, хвастаются друг пред другом, домой шли – песни пели.

А как подошли к своему-то селу – глядь, там тоже кольчаки озоруют, пожар в двух местах, вой, крик бабий. Ну, тут Ивков этот, кочегар, показал себя достойным воякой, разделил он нас на две части, обошёл село, и – нагрянули мы врасплох. Тут дрались сердито, одних убитых оказалось с обе-

их-то сторон тридцать семь. Зато – досталась нам пушка, два пулемёта, ружья и множество всякого снаряда, да одиннадцать кольчаковцев на нашу сторону перешло.

После этого решили мы совсем в лес уйти и жить на военном положении; ушли, пятьдесят семь человек. Живём на вольном воздухе, людей бьём, песенки поём. Да.

Во всякой форме жизни есть свой недостаток; явился недостаток и у нас: начали привыкать люди к бродячей жизни по лесам да полям, ленятся. Рваные, драные, а пошиться – неохота. Доносишь своё донельзя – с мёртвого снимаешь, а мёртвый тоже не барином одет. Отбивается народ от своей настоящей, избяной жизни. Скушно мне; ночами – думаю: когда конец этому крутежу? И мёртвого духа нанюхался я много. Да и людей жалко – много людей погибало от глупости своей, ой, много!

Хоть я человек не боевой, а тоже раззадорился, стрелял и колол с большой охотой, однако вижу: война – занятие глупое и дорогое. Главное тут – огромный расход на пули, – сотни пуль истрачены, а людей убито десятков, остальные разбежались. Кроме того – война вредное занятие: портит людей.

У нас был парнишко один, Петька, так он до того избаловался, что, бывало, наберём пленников, он обязательно пристаёт – давайте, расстреляем! Просит Ивкова: разрешите пристрелить! Глазёнки горят, рожица красная. Милovidный был и с виду тихий. Запретит ему Ивков, а он всё-таки за-

стрелит пленника и оправдывается:

– Это я – нечаянно!

Или скажет:

– Да он всё равно раненый был, не выжил бы!

Раза два бил его Ивков за эти штуки. Таких, «набалованных на убийство, у нас не один Петька был.

Ивков, начальник наш, был характера угрюмого, ума не видного и всё моря хвалил, – он был кочегаром на военном судне, потом, за политику, на Амуре работал, в каторге. Человек бесстрашный, – потом оказалось, оттого бесстрашен, что незначительно умён. Любил он вперёд всех выезжать, выедет, грозит ружьём, как дубиной, и матерно ругается, а в него – стреляют. Людей – не жалел.

– Честные люди – они на море живут, говорил, а на земле основалась сволочь.

Вообще же больше молчал, всё покряхтывал, спина у него болела, били его в каторге, что ли. Нахватаем пленников, он посылает к ним меня:

– Ну-ко, Язёв-Князёв, безобразие, поди усовести их, чтобы к нам переходили, а не согласятся, – расстреляем, скажи.

Вот эдак-то захватили мы разъезд, пять человек солдат конных, и один, пораненный в руку и в голову, начал спорить со мной, да так, что прямо конфузит меня. Вижу – не простой человек. Спрашиваю:

– Из господ будешь?

Сознался: офицер, подпоручик, да ещё к тому – попов

сын. Я ему угрожаю:

– Мы тебя застрелим.

Он – гордый, бравый такой, складный, лицо серьёзное, и большой силы; когда брали его – оборонялся замечательно. Смотрит прямо, глаза хорошие, хотя и сердиты.

– Конечно, говорит, расстрелять надо, это такая война, без пощады, без жалости.

Как он это сказал – мне его жалко стало. Говорил я с ним долго, очень захотелось переманить к нам. А он ругает нас, особенно же Ивкова, оказалось, он за тем и ездил, чтоб Ивкова, наш отряд выследить, у них, кольчаковцев, пошла про нас слава нехорошая.

– Погубит, говорит, всех вас дурак, начальник ваш.

И так ловко обличил он Ивкова за то, что тот не умеет людей беречь, и за многое, что я сразу вижу: всё – правда, дурак Ивков. И вижу, что офицер этот, – Успенский-Кутырский, фамилия его, – обозлился на всех и ничего ему не надо, только бы драться. Вроде нашего Петьки. Говорю ему шутя:

– Драться хотите? Так идите к нам, бейте своих.

Он только бровью пошевелил. Рассказал я про него Ивкову, хвалю – хорош человек! Ивков ворчит:

– На них нельзя надеяться.

– Вояки-то мы плохие, говорю.

– Это – верно; силы много, а умения нет. Поговори с ним ещё. Расстрелять успеем.

Угостил я его благородие господина Кутырского самого-

ном, накормил, чаем напоил, говорю ему: правда на нашей стороне.

– А чёрт её знает, где она! – бормочет господин Кутырский. – Может, и с вами правда. У нас её – нет, это я знаю.

Коротко сказать – согласился Кутырский на должность помощника Ивкову, вроде начальника штаба стал у нас, если по-военному сказать. Ну, этот оказался мастером своего дела. Он так начал жучить нас, так закомандовал, что иной раз калялся я: напрасно не застрелили парня. И все у нас нахмурились, но тут пошли такие удачи, такие хитрости, что все мы поняли: это – молодчина! Он вперёд, напоказ не совался, никакой храбрости не обнаруживал, он брал лисьей ухваткой, тихонько, крадучись, и действительно берёт людей, не только в драке, а и на отдыхе. Он и ноги у всех оглядит, не стёрты ли, и купаться приказывает часто, и стрелять учит неумеющих, на разведки гоняет, просто беда, покоя нет!

– Кто вшей разведёт – того драть буду! – объявил.

Ивкова и не видно за ним. Старые солдаты очень хвалили его, а молодёжь недолюбливала.

Было нас под ружьём шестьдесят семь человек, и вот в эдаком-то числе он водил нас на такие дела, что мы диву давались – как дешёво удача нам стоила.

Вначале он много разговаривал со мной, но скоро отстал, – ничего не может понять, натура не позволяла ему.

– Ты, говорит, Зыков, с ума сошёл.

Чужих людей он не любил, поляков, чехов разных, нем-

цев, а русских несколько жалел. Суров был. Нахмурится, зубы оскалит, и – каюк пленникам! Это уже – после, когда он Ивкова заменил; Ивкова убили. Он, Петька да солдат японской войны купались в речке, а на наш стан наткнулась компания офицеров, человек десять. Услыхал Ивков пальбу и вместо того, чтоб спрятаться в кусты, побежал к нам, а офицеры бегут от нас, встречу ему, – застрелил его конник. Петрушке голову разрубили, тоже помер. Признаться, так Петьку и не жалко было, надоел он баловством своим.

А Ивкова как сейчас вижу: лежит на траве, растянулся в сажень, руки раскинул крестом – летит! В одной рубахе, около руки – наган револьвер. Его все пожалели, даже сам Кутырский присел на корточки, рубаху застегнул ему, ворот. Долго сидел. Потом сказал нам хвалебную речь:

– Это, дескать, был великий страдалец за правду и настоящий герой.

Он с Ивковым очень подружился, они и спали рядом. Оба не говоруны, помалкивают, а всегда вместе и берегут друг друга. А меня Кутырский – не любил и даже – я так думаю – боялся. Бояться меня он должен был, потому что я всё-таки не верил ему. Ивков правильно сказал: не полагается верить таким, которые от своих уходят.

Так вот, значит, так и жили мы, вояки. Через пленников известно было нам, что поблизости ищут нас кольчаковские, – сильно надоели мы им. Кутырский, который умел всё

выспрашивать, повёл нас к Ново-Николаевску², а тут по дороге случилась неприятная встреча: наткнулись на обоз, отбили двадцать девять коней и, с тем вместе, санитарных пять телег да девять человек пленных нашей стороны, партизанцев.

И вот оказалось: в одной телеге лежит доктор, Александр Кириллыч, а между пленниками этот читинский матрос, Пётр, так избитый, что я его признал только по лишнему пальцу на руке. А доктора я и совсем не признал, он сам меня окрикнул:

– Эй, мешок кишок!

Гляжу – лежит старик, опух весь, борода седая, лысый, глаза недвижимы и уж – больше не шутит. Приказал, чтоб я ему табачку достал; хрипит:

– Трое суток не курил, чёрт вас возьми...

А закурив, всё-таки спрашивает:

– Упрощаешь?

Вижу я, что хоть он и доктор, а – не жилец на земле. Даже говорить ему трудно.

А матрос спрашивает: помню ли я Татьяну? Оказалось, что она в Николаевске прячется и ему нужно видеть её по делам ранним. Упросил Кутырского послать за нею человека – послали. Мне любопытно: что будет? На третьи сутки прикатила она в шарабане, встретила меня как будто радостно.

– Большевик?

² сейчас г. Новосибирск – Ред.

– Ну да, – говорю. – Конечно.

Хотя я тогда ещё не очень большевикам доверял. Собрала она всех наших и речь сказала: Кольчаково дело – плохо, надо скорее добивать его и наладить мирную жизнь. Кричит, руками махает, щека у неё дёргается, очки блестят. Постарела, усохла, лицо тёмное в цвет очкам, голодное лицо, а голос визгливый. Очень неприятная. Вечером рассказывала мне, что она давно настоящая партийная и даже в тюрьме сидела два раза. С моряком встретилась всего три месяца тому назад, когда он, раненый, в больнице лежал. Ну, это не моё дело. Спрашивает:

– А знаешь, что доктор-то, хозяин твой, тоже с кольчаковцами?

Тут я говорю ей:

– Вон он, доктор, в холодке лежит, под кустом.

Так её и передёрнуло всю, – жаль, не видно было, за очками, как её глазок играет; не могла она забыть, что пренебрёт доктор ейной бабьей слабостью, не могла! Я это давно знал, а в ту минуту совсем удостоверился. Смеюсь, конечно, над ней, а она доказывает, что доктор – враг. Пошёл я к нему, говорю:

– Тут – Татьяна!

Он только усы языком поправил; хрипит:

– Вот как...

И больше ни слова не сказал. Следил я весь вечер: не подойдёт ли она к нему, не разговорятся ли? Нет, ходит она

сторонкой, прутиком помахивает; подойдёт к матросу своему, – он на телеге лежал, – перекинется с ним словечком и опять ходит, как часовой. Я к доктору два раза подходил – спит он будто бы, не откликается. Будить – жалко, а хотел я сказать ему что-нибудь. Даже при луне заметно было, какое красное, раскалённое лицо у него, – у здоровых людей при луне-то рожи синие.

К полуночи начали мы собираться дальше в путь. Спрашиваю Кутырского:

– Чего будем делать, Матвей Николаич, с пленниками?

Шестеро было их: офицер поляк, трое солдат, все раненые, доктор да женщина еврейка, эта тоже умирала, уже и глаза у неё под лоб ушли. Кутырский – кричит:

– На кой они чёрт?

Мужики предлагают добить всех, а Кутырский лошади своей морду гладит и торопит:

– Собирайся!

Уговорил я сложить больных на берегу речки и оставить. Офицера, конечно, застрелили. А доктор, на прощанье, пошутил, через силу:

– Тебе бы, мешок кишок, надо упростить меня.

А я говорю:

– Сам скоро помрёшь, Александр Кириллыч.

Всё-таки жалко было мне его, много раз умилял он меня простотой своей. Хороший человек. Его однако убили; старик солдат, которого Японцем звали, да ещё один охотник,

медвежатник. Отстали от нас незаметно, а потом Японец, догнав, говорит мне:

– Пришиб я доктора твоего, не люблю докторов.

Они там всех доби́ли, прикладами, чтоб не шуметь.

Попенял я им, поругался немножко, – Кутырский сконфузил меня:

– А если б, говорит, на них на живых разведчики наткнулись?

Н-да. Конечно, – убивать людей – окаянное занятие. Иной раз, может, легче бы себя убить, – ну, этого должность не позволяет. Тут – не вывернешься. Начата окончательная война против жестокости жизни, а глупая жестокость эта в кости человеку вросла, – как тут быть? Многие совсем неисцелимо заражены и живут ради того, чтоб других заражать. Нет, здесь ничего не поделаешь, бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты.

Признаться – подумал я: не Татьяна ли посоветовала Японцу доктора добить? Потому что у Японца табаку не было, а тут вдруг он папиросы курит и по знакам на коробке вижу я, что папиросы – Татьяниного дружка. Может быть, она это – из жалости, чтоб зря не мучился доктор. Бывало и так – убивали жалеючи.

Вот вы видите: я человек кроткий, а однако своей рукой прикончил беззащитного старичка, положим – не из жалости, а по другой причине. Я ведь говорил, что стариков – не люблю, считаю их вредными. Своим парням я всегда гово-

рил:

– Стариков – не жалейте, они – вредные, от упрямства, от дряхлости. Молодой – переменится, а старикам перемениться – некуда. Они – самолюбивы, сами собой любуются; каждый думает: я – стар, я и – прав! Они – люди вчерашнего дня, о завтра старики боятся думать; он, на завтра, смерти ждёт, старик.

Тоже и насчёт разных хозяйственных вещей я учил:

– Крупную вещь – шкафы, сундуки, кровати – не ломай, не круши; а мелкое, пустяки разные, – бей в пыль! От пустяков всё горе наше.

Да. Так вот – пришлось мне соткнуться с одним ядовитым старичком. Началось с того, что заболел я тифом, сложили меня в селе одном, у хорошего хозяина, и провалялся я почти всю зиму. Сильно болел, всю память выжгло у меня, очнулся – ничего не понимаю, как будто года прошли мимо меня. Мужики, слышу, рычат, костят Москву, большевиков матерщиной кроют. В чём дело? И – нет-нет, а шмыгнёт селом старик в папаше, с палочкой в руке, быстрый такой старикашка, глазки у него тёмненькие, мохнатые и шевелятся в морщинках, как жуки, – есть такой жучок, крылья у него будто железные. Одет старик этот не отлично, а издали приметен.

Время – весеннее, я кое-как хожу, отдыхаю, присматриваюсь к людям, – другие люди, совсем чужие, кто уныло глядит, кто сердито, а бойкости, твёрдости – нет. Жалуются на

поборы, на комиссаров. Я, конечно, разговариваю их, объясняю, хотя сам не очень понимал: в чём суть? И вот, сижу одна за селом, у поскотины³, катится по дороге старик этот, землю палочкой меряет, углядел меня, отвернулся в сторону и плюнул. Стало мне это любопытно. Спрашиваю хозяина избы, где жил:

– Это кто же у вас?

– Это, говорит, человек праведный и умный; он обмана не терпит.

Говорит – нехотя, сурово.

Был там один человек, Никола Раскатов, инвалид войны, молодой парень, без ноги, без пальцев на левой руке, он мне подробно рассказал:

– Это – вредный старик, он тут у нас давно живёт, ссыльно-поселенец; раньше – пчёл разводил, а теперь построился в лесу, живёт отшельником, ложки режет, святым притворяется. Он с начала революции бубнил против её, а когда у него пасеку разорили – совсем обозлился. Теперь стал на всю округу известен, к нему издаля, вёрст за сто, приходят, советы даёт, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют, и всю чепуху, как заведено: сопротивляться велит.

И рассказал такой случай: воротились в одно село красноармейские солдаты, двое, а старики собрали сходку и говорят: «Это – злодеи. У этого его товарищи отца, мать убили,

³ пастбище, выгон для скота – *Ред.*

а у этого родительский дом сожгли, хозяйство разорили, так что родители его теперь в городе нищенствуют; будут эти ребята наших парней смущать, и предлагаем их казнить, чтобы дети наши видели: озорству – конец!» Связали голубчиков, положили головы ихние на бревно, и дядя красноармейца оттяпал головы им топором.

«Вот куда метнуло», – думаю. Приуныл даже. Кроме Раскатова, было там ещё с десятков парней новой веры, однако они, по молодости да со скуки, только с девками озорничали. Да и нечего кроме делать им, – отцы, деды наблюдают за ними, как за ворами, и – чуть что не по-прежнему парнишки затевают, – бьют их. Я внушаю им:

– Разве не видите, где злой узел завязан?

Боятся, говорят:

– Перебьют нас.

«Эх, думаю, черти не нашего бога!»

Решил я сам поговорить с этим стариком значительным, понимаю, что затевает он крутёж в обратную сторону, хочет годы назад повернуть. А я очень хорошо знаю, что деревенские люди – глупые, я к этому присмотрелся. У мужика для всех терпенья хватает, только для себя он потерпеть не хочет. Всё торопится покрепче сесть да побольше съесть.

Старик основался верстах в семи от села, на пригорке, у опушки леса; избёнка у него, как сторожка, в одно окно, огородишко не великий, гряд шесть, три колоды пчёл, собачонка лохматенькая – в этом всё его хозяйство. Пришёл я к нему

светлым днём, сидит старик на пеньке у костра, над костром в камнях котёл кипит, – в котле чурбаки мякнут; на изгороди вершинки ёлок висят, лыком связаны, – мутовки будут, значит⁴. Рукодельный старичок; согнулся, ложки режет, не глядит на меня. Одета на нём посконь⁵ синяя, ноги – босые. Лысина светится, над правым ухом шишка торчит, вроде бы зародыша ещё другой головы, что ли. Чувствую – шишечка эта особенно злит мою душу.

– Вот, мол, пришёл я потолковать с тобой.

– Толкуй.

И – молчит. Действует ножом быстро, стружка так и брызжет на коленки, на ноги ему. Чурбаки сырые, режутся, как масло, от ножа никакого скрипа нет. В котле вода булькает, обок старика собака лает. А всё-таки – тихо кругом старика.

– Чего ради ты людей мутишь? – спрашиваю. – Какая твоя вера, какая затея?

Молчит. Опустил голову и даже глаз не поднимает на меня, как будто и нет перед ним человека. Ковыряет чурбак ножом и молчит, подобно глухому. Собачонка излаялась на меня до того, что дудкой свистит, а он и собаку унять не хочет. Сидит и только руками шевелит, да правое плечико играет у него, а кроме этого – весь недвижим, словно синий камень. Хорошо, спокойно вокруг его, старого чёрта; за из-

⁴ мутовка – палочка с крестом, кружком или рожками на конце, для пахтанья, мешанья и взбалтывания – *Ред.*

⁵ холст, лучший, крестьянский рубашечный – *Ред.*

бёнкой – пахучий лес, перед ней, внизу – долина, речка бежит, солнышко играет.

«Ишь ты, думаю, как ловко отделился от людей, колдун».

Очень досадно мне было. И ругал я его, и грозил ему – ничего не добился, ни единого слова не сказал он мне, так я дураком и ушёл. Иду, оглядываюсь: на пригорке костёр светит. Соображаю:

«Действительно – это вредный зверь, старик!»

Не скрою: задел он меня за душу нарочитой глухотой ко мне. Меня многие сотни людей слушали, а тут – на-ко!

Через сутки, что ли, хозяин, глядя в землю быком, говорит мне:

– Что ж, Князёв, отлежался ты, шёл бы теперь куда тебе надо.

И жена его, и обе снохи, и батрак-немец, – все глядят на меня уж неласково, говорят со мной грубо, – понял я, что старик рассказал им про меня. Да и все на селе избычились, будто не видят меня, а ещё недавно сами на разговор со мной лезли. Задумался я: человек одинокий, убрать меня в землю – очень просто. Кого это обидит? Кто на это пожалуется в такие строгие к человеку дни? И тут – вскипело у меня сердце.

Пошёл к Раскатову, говорю:

– Ну-ко, спрячь ты меня дня на три в незаметное местечко.

Простился я с хозяевами честь честью и будто бы на свету ушёл из села, а Раскатов запер меня в бане у себя, на черда-

ке. Сутки сижу, двое сижу и третьи сижу. А на четвёртые дождался ночи потемнее и пошёл. Завязал голыш в полотенце, вышло это орудие вроде кистеня. Был у меня и реворверт, я его Раскатову продал; для одинокого человека в дороге это инструмент опасный, – он характер жизни выдаёт.

Пришёл к старику, стучусь смело, думаю: он к ночным гостям, наверно, привык, не испугается. Верно: открыл он дверь, хоть и держится рукой за скобу, ну, я, конечно, ногу вставил между дверью и колодой и это – зря; старик сразу понял, что чужой пришёл. Храпит со сна:

– Кто таков? Чего надо?

Собачка его вцепилась в ногу мне, тут я старика – по руке, а собаку – пинком; собаку надо бить под морду, снизу вверх, эдак ей сразу голову с позвонка сшибёшь.

Вошёл в избу, дверь засовом запер, а старик, то ли ещё не узнал меня, то ли испугался, – бормочет:

– Почто собаку-то...

Шаркает спичками. Тут бы мне и ударить его, да это, видишь ли, не больно просто делается, к тому же и темно мне. Ну, засветил он лампу, а всё не глядит на меня, от беззаботности, что ли, а может, от страха. Это и мне жутко было, даже ноги тряслись, особенно – когда он, из-под ладони, взглянул на меня, подался, сел на лавку, упёрся в неё руками и – молчит, а глаза большие, бабьи, жалобные. И мне тоже будто жаль его, что ли. Однако говорю:

– Ну, старик, жизнь твоя кончена...

А рука у меня не поднимается.

Он бормочет, хрипит:

– Не боюсь. Не себя жалко – людей жалко, – не будет им утешения, когда я умру...

– Утешение твоё, говорю, это обман. Богу молиться будешь или как?

Встал он на колени, тут я его и ударил. Неприятно было – тошнота в грудях, и весь трясусь. До того одурел, что чуть не решил разбить лампу и поджечь избёнку, – был бы мне тогда – каюк! Прискакали бы на огонь мужики и догнали меня, нашли бы в лесу-то. Место мне незнакомое, далеко не уйдёшь. А так я прикрыл дверь и пошёл лесом в гору, до солнца-то вёрст двадцать отшагал, лёг спать, а на сонного на меня набрели белые разведчики, что ли, девятеро. Проснулся – готов! Сейчас, конечно, закричали: шпион, вешать! Побили немного. Я говорю:

– Что вы дерётесь? Что кричите? Тут, верстах в семи, большевики под горой стоят, сотни полторы, я от них сбежал, мобилизовать хотели...

Испугались, а – верят, вижу.

– Отчего кровь на онучах?

– Это, говорю, рядом со мной человеку голову разбили прикладом, обрызгало меня.

Ну, – обманул я их и напугал. Пошли быстро прочь и меня с собой ведут. Хорошая у меня привычка была – дурака крутить в опасный час, несчётно выручала она меня. К утру

я с ними был на ровной ноге, совсем оболванил солдат. А-а-а, до чего люди глупы, когда знаешь их! Во всём глупы: и в делах, и в забавах, и в грехе, и в святости.

Хотя бы старик этот... Ну, про него – будет. Это мне неохота вспоминать. Твёрдый старик был однако...

Да, да, – глупы люди-то... А всё – почему? Необыкновенного хотят и не могут понять, что спасение их – в простоте. Мне вот это необыкновенное до того холку натёрло что ежели бы я не знал, как надобно жить, да в бога веровал, – в кроты бы просился я у господа бога, чтобы под землёй жить. Вот до чего натерпелся.

Ну, теперь вся эта чёртова постройка надломилась, разваливается, и скоро надо ждать – приведут себя люди в лёгкий порядок. Все начали понимать, что премудрость жизни в простоте, а жестокие наши особенности надо прочь отместить, вон... Необыкновенное – чёрт выдумал на погибель нашу...

Так-то, браток...